

Трактирный Гегель

Семиотика безумия. Сб. статей. Составитель Нора Букс.
Париж-Москва, "Европа", 2005, с. 109-115



История идей, как и история событий, проходит несколько стадий: рождение, развитие, кульминация, разрешение. Жизнь идеи неизбежно на первоначальном этапе связана с ее носителем, автором или авторской группой, а потому персонифицирована, наделена своей биографией и судьбой. Наглядность, почти фактурность истории мысли создает, организует, «планирует» развитие политического и культурного пространства. История мысли реальна, пластична и по-своему театральна. Только сцена ее меняет границы и очертания. К автору прикована свита толкователей, адептов, трансляторов и проводников разного калибра, сказителей и искажителей. А по другую сторону «рампы» - наблюдатели, зрители, штучно или массово, в зависимости от обстоятельств, испытывающие действие этой интеллектуальной магии. Распространение идей за пределы отечественного культурного ареала, «захват» новых географических территорий и социальных слоев сродни эпидемиям - эпидемиям умственным.

Существованию бактерии, ее активности и живучести, модификациям всякого рода, способности изменить в итоге генетический код национальной культуры отвечают встречные условия: состояние просвещения, экономики, быта, политики - готовность среды и почвы реагировать на занесенный вирус. История идей сродни вирусологии - выявление биологических закономерностей в чем-то сродни изучению интеллектуальной эволюции, а работа механизмов усвоения и мутации природных организмов отчасти эквивалентна взаимодействию подлинных интеллектуальных сил, в конечном итоге вызывающих сдвиги, катаклизмы, политические катастрофы. Примерно так природу идей, их воздействие на реальную историю понимает Эрвин Панофски¹.

Европейский XIX век во многом состоялся под знаком идей Гегеля. Об их влиянии на русскую культуру написаны тома². Но русское гегельянство тем не менее исследовано не до конца. Осталась открытой проблема «гегелевских инкарнаций» в России, имеющих вполне конкретные хронологические границы и политический статус. Прав О. Мандельштам, определивший состав и сущность познавательной деятельности XIX века:

Минувший век не любил говорить о себе от первого лица, но он любил проецировать себя на экране чужих эпох <...> Своей бессонной мыслью, как огромным шалым прожектором, он раскатывал по черному небу истории <...> все науки превратились в собственные, отвлеченные и чудовищные методологии <...> Наиболее типична философия: на всем протяжении столетия она предпочитала ограничиваться «введением в философию», вводила и вводила без конца, куда-то заводила и бросала <...>³.

Гегелевские проекции и «проекты» воплотились на русском грунте в разных обликах, надолго въевшихся в культурную память скорее бытовым, нежели интеллектуальным эксцентризмом и экстремизмом. Московско-петербургский, домашний, кружковый, «ручной» Гегель отчасти ученически воспринят, отчасти изобретен младороссами (по выражению М. Гершензона) 1830-1840-х. Станкевич, Грановский, Бакунин, Герцен, Огарев и прочая компания, похоже, сами не до конца понимали, какого джина из бутылки им суждено было выпустить. Русский Гегель 1830-х - это амбициозный проект небольшой группы людей, единомышленников, впоследствии либо рано умерших, либо резко полемизировавших друг с другом. К 1860-м годам брошюры о Гегеле попадали в разряд самой актуальной и острой современной литературы. Гегелевские идеи об эстетике, религии, философии, праве, морали были ходячими идеями, расхожей монетой, которой расплачивались в самых разных обстоятельствах и случаях жизни.

В тарантасе, в телеге ли
Еду ночью из Брянска я,
Все о нем, все о Гегеле,
Моя дума дворянская...⁴

Восторг неопитов, посвященных в таинства германской философии, искал выхода и практического применения, а универсальность гегелевских систем соблазняла цельностью и казалась тем волшебным ключом, той общей отмычкой, что сможет объяснить и упорядочить абсурд и хаос российского жизнеустройства. Вот тут-то, в столкновении несоизмеримых масштабов, в философской «безъязыкости» 1850-1860-х гг., в спешной выпечке полусырых домашних заготовок и начинаются разрывы, прошедшие остро через историю поколений и судьбы отдельных людей.

Русский Гегель - салонный, журнальный, театральный, газетный, кабацкий, усвоенный и переваренный в особняках, - самым парадоксальным образом сумел по-хозяйски обжить культуру элитарную и с небольшим опозданием поселиться в домах и трактирах Замоскворечья, петербургских задворках, на провинциальных подмостках в репертуаре заезжих гастролеров⁵. Еще подлежит подсчету, анализу, систематизации и объяснению уживаемость Гегеля в двух параллельных русских культурах, при всей полярности, зорко следящих друг за другом.

Многоликость русского гегельянства, его рассредоточенность в пространстве и времени тем не менее обрела свой хронотоп и узнаваемый псевдоним. Эту автоатрибуцию предлагал современникам один из наиболее загадочных «шифровальщиков» своего века драматург А.Сухово-Кобылин, на протяжении пяти десятилетий пытавшийся разгадать русскую загадку немецкими средствами. В соединении несоединимого -риторического, в домашнем витийстве отточенного опыта и низовой, уличной речи возник шокирующий формат драматического письма, густого, концентрированного, долго и тщетно искавшего адекватного воплощения на русской и европейской сцене.

Случай Сухово-Кобылина - это парадоксальное, сложное, болезненное сочетание нормы и аномалии, - случай, многое объясняющий в устройстве русского литературного процесса.

Собственно, биография Сухово-Кобылина - это его «Дело». Дело уголовное, возбужденное после убийства его гражданской жены-француженки Симон-Деманш, формально длившееся около семи лет, а в реальности растянувшееся в преследование и самопреследование, обвинения и оправдания почти до конца его дней, и дело всей жизни - театр, перевод всего Гегеля и создание собственной постгегелевской системы, ответственная дерзость, на какую не посягал еще ни один русский ум. Самосожжение в этих интеллектуальных и вполне житейских перипетиях не было бы столь мучительно, если бы не затянулось на пятидесятилетний срок. Сейчас трудно представить этот уникальный биографический хронотоп, хранящий в памяти живую близость с Герценом и Огаревым, общение и переписку с Александром III, трехкратную смену власти. В разрывах между Россией и Францией, между Москвой, подмосковной Кобылинкой, позднее сгоревшей дотла, и именем в Ницце.

«Азиатский европеец» или «европеец-азиат» - так называли Сухово-Кобылина те немногие, кто оставался близок с ним после скандала ⁶. Закончив Московский университет, он довершал философское образование в Гейдельберге, слушая лекции Гегеля и его учеников. Там, как и многие сверстники, заразился вирусом гегельянства, но инфекция дремала, а ее пробуждению способствовал толчок - судебный процесс.

В случае Сухово-Кобылина франко-германская почва в 1860-х годах дополнилась другим составом - английским консерватизмом: в записках и социально-политических проектах, адресованных Александру III, он числил себя консерватором.

Другая биография, второе биографическое «досье» крайне скупо. Его предельная концентрированность уместается в одной драматической трилогии - «Картинах прошедшего», - состоящей из трех крайне разных, очень сильных пьес, написанных каждая в своей структурной, образной, языковой логике, объединенных лишь одним - нарастанием тревоги абсурда.

Оба биографических хронотопа, оба биографических досье сшивает еще несколько «формул». «Безумствующий математик» - это слова Константина Аксакова, адресованные Сухово-Кобылину, всегда прибегавшему к математическому способу возражения в самых тонких, самых интимных материях, что доводило его юного друга до иступленного отчаяния. «Когда-нибудь ты сойдешь с ума», - говорил он Аксакову. На что Аксаков возражал: «Еще вопрос, кто сумасшедшие: мы или те, кого мы считаем сумасшедшими. В суждениях ума все зависит от точки зрения»⁷.

Еще один характерный «ярлык» придумал в 1880-х годах для Сухово-Кобылина Алексей Суворин, метко назвав его «взбесившимся Чацким». Суворин знал драматурга не понаслышке и вел с ним кое-какие издательско-театральные дела, принимая к постановке «Свадьбу Кречинского» или обдумывая публикацию фрагмента гегелевских переводов.

Почему «взбесившийся Чацкий»? Вернемся к истории. Вспомним: литература, сочинительство, переход в другую, творческую ипостась, перемена участи, полная смена декораций происходят внезапно, для внешнего, поверхностного наблюдателя как бы без подготовки, как фокус в цирке, совершив превращение. Был повесой, светским львом, жуиром и прожигателем жизни. В одночасье стал затворником и посвятил себя сочинительству и философии, сосредоточившись внутренне на одной точке. Дремавший вирус «умственного неистовства» ⁸ проснулся, ошеломив ближних и дальних знакомых. Такой перемене не поверили. Количество версий трудно измерить. Одна гипотеза противоречила другой ⁹. А. Рембелинский, друг Сухово-Кобылина, отчасти суммирует этот поток толкований: «На ум приходит бессмертный Грибоедов. Стоило одному-двум вздорным болтунам пустить сдуру, что Чацкий сошел с ума, как этому сразу поверили без всяких к тому оснований, и стоустая молва

готова была сразу расползтись по городу. Сравнение с грибоедовским Чацким и Сухово-Кобылиным напрашивается невольно. Без всякой натяжки»¹⁰.

Получалось, сюжет «Горе от ума» перенесен в реальность и бесконтрольно развивается вне каких-либо правил логики, а те, кто так или иначе попали в действие, оказались заложниками коллизии, не исчерпанной даже смертью автора.

В самом деле, по малочисленности и значимости опубликованного Сухово-Кобылин сопоставим с Грибоедовым. Правда, «случай Грибоедова» спроектировал как бы всю «правильную» линию русской литературы; «случай Сухово-Кобылина» дал сжатую формулу ее «искажений».

Эффект «искажений» достигается, в частности, в результате смешения, совмещения двух текстовых плоскостей - драматического и «гегелевского». В ткань пьес, в диалоги персонажей трилогии вставлены обрывки, фразы, фрагменты переводов гегелевских сочинений; в свою очередь, черновики сухово-кобылинских переводов пестрят автоцитатами пьес; реплики из «Смерти Тарелкина» попадают особенно часто. Такое «удвоение» гегелевской мысли, параллелизм текстов достигается за счет невольного изобретения «крапленой речевой карты». Гегель переписан языком кабацким, языком купеческим. В столкновении двух речевых органик - отдельный, самостоятельный конфликт, другая драма, по-своему театральная, фарсовая, очень наглядная. Только герои новой пьесы - речевые структуры, одновременно подчиненные переводчику и выходящие из подчинения¹¹.

Изготовление «русского Гегеля» на практике сопровождалось потерями и неприятностями. Сухово-Кобылин, несмотря на уход в «творческий скит», тем не менее создавал хозяйственные проекты, которые рушились один за другим, почти доведя владельца до банкротства. Неудачник, он просчитывал до мелочей все стадии, но в финале всегда обнаруживалась роковая ошибка, несоответствие, которое нельзя было предусмотреть заранее. «Надо мною стряслась такая масса неотразимых трат, затрат, утрат, растрат <...> разноса инвентаря, что результат<...> - нуль, а к концу жизни - разорение. Оно и есть, явилось, пришло <...>

как смерть <...> Мы <...> старая оболочка духа, та оболочка, которую он, дух, ныне, по словам Гегеля, с себя скидает и в новую облекается. Где и как? Этого Гегель не сказал и предоставил решить истории человечества. Это ее секрет <...>»¹².

Сухово-кобылинский Гегель - это «черная метка», которую автор поставил российскому укладу, российской истории. Она олицетворяла эпилог русского гегельянства с безрадостным подсчетом его итогов накануне «сумерек богов».

Примечания

1 Э. Панофски. *Idea*. Спб., 1999.

2 Первая в русской литературе статья о Гегеле - «Обозрение гегелевой логики» («Москвитянин», 1841, т. IV. «Из лекции по истории философии права в связи с историей философии вообще») - принадлежит Редкину. Далее - почти двадцатилетний перерыв в публичном обсуждении гегелевских идей, ушедший на подспудное усвоение, «домашние заготовки», создание языка, в той или иной степени адекватного гегелевским философским текстам. 1860-е годы - «второй приход» Гегеля в журнально-издательское пространство. Причем нестолычность этого появления, в отличие от московско-петербургского культа 1830-1840-х годов, в какой-то мере знакова. Так, Г. Гогоцкий дал, в сущности, первое «Обозрение системы философии Гегеля» (Киев, 1860) и открыл канал русским печатным интерпретаторам. Одна за другой появляются работы: Д. Гайм. «Гегель и его время. Лекции о первоначальном возникновении, развитии, сущности и достоинстве гегелевой философии. Перевод А. Соляникова (СПб., 1861); М. Антонович. «О гегелевской философии». (Современник, 1861, №8, с. 201-238); М. Стасюлевич. «Опыт исторического обзора главных систем философии истории» (СПб., 1866); А. Гиляров-Платонов. «Онтология Гегеля» / Вопросы философии и психологии, 1891, кн. 8;10; 1892, кн. 11.; М. Градовский. «Политическая философия Гегеля»/Журнал министерства народного просвещения, 1893, ч. 150, с. 39-81. На 1860-е годы в XIX веке приходится максимум переводов и изданий сочинений Гегеля: «Курс эстетики и наука изящного» (пер. В. Модестова в трех частях, М., 1859-1860. В приложении - Г. Бенар. «Аналитико-критический разбор курса эстетики Гегеля»); «Энциклопедия философских наук в кратком очерке» (пер. В. Чижова, ч. 1, «Логика». М., 1861; ч. 2 «Философия природы, т. 1, М., 1868; ч. 3 «Философия духа», М., 1864).

3 О. Мандельштам. Сочинения в двух томах. М., 1990. Т. 2, с. 196.

4 А.К.Толстой. Переписка с Н. Адлербергом// А.К. Толстой. Полное собрание сочинений в четырех томах. М., 1964. Т. 3, с. 126.

5 Например, Н.И. Пастухов, издатель «Московского листка», первой уличной газеты в Москве, называл Гегеля и русских гегельянцев, публикующих материалы и переводы

114

в русской прессе 1860-1890-х гг., «немецкой чумой». А в пастуховских комедиях «Питейная контора» (М., 1862), в «Стихотворениях» (М., 1862), посвященных описанию быта питейных заведений, гегелевская философия словно бы раскололась на отдельные составляющие - «словечки», «переведенные» на язык «лакеев, горничных, кучеров, прачек, кухарок, лавочников, мелких ремесленников, купечества средней руки и т.п. Весь этот невзыскательный люд буквально зачитывался фельетонами «Старого знакомого» (псевдоним Н.И. Пастухова), в которых описывались совершенно невероятные похождения «разбойника Чуркина», пересыпавшего свою речь невероятными искажениями, заимствованиями из «Философского лексикона» и смеси фраз, подслушанных лакеями в гостиных» (см. 6. Щетинин. Легендарный издатель// Исторический вестник. 1911. №9, С. 1038-1043; Хозяин Москвы // Исторический вестник, 1917. № 5/6. С. 455).

6 «Дело Сухово-Кобылина». М., 2002. С. 423.

7 Там же. С. 112.

8 Там же. С. 254.

9 От «спора» двух Гроссманов, Леонида («Преступление А.В. Сухово-Кобылина». Л., 1927) и Виктора («Дело А.В. Сухово-Кобылина». М., 1936), отстаивавших, к примеру, разные точки зрения относительно виновности/невиновности писателя в убийстве француженки, до недавних работ, опубликованных в современных изданиях, напр., В. Селезнев. «О Сухово-Кобылине». Вопросы литературы, 2003, № 2).

10 ОПИ ГИМ, ф. 1256., оп. 3, ед. хр. 254. Л. 7 об.

11 Об этом мне приходилось писать. См. Е. Пенская. Проблема альтернативных путей в русской литературе (А.К. Толстой, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.В. Сухово-Кобылин). М., 2001.

12 А.Сухово-Кобылин. Картины прошедшего. М., 1989. С. 239.